

Самосуд в крестьянском правовом быту

И.Н. Васев

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Vigilante Justice in the Peasants' Legal Mode of Life

I.N. Vasev

Altai State University (Barnaul, Russia)

Анализируется природа русской крестьянской общины как системообразующего элемента в истории отечественного государства и права. С разных сторон освещается феномен самосуда в русском обычном праве. Самосуд определяется как неотъемлемая составляющая обычно-правового порядка, не подвергающаяся формализации средствами позитивного права. Самосуд вершился крестьянами по многим категориям дел. Как правило, это были воровство (отдельно — конокрадство), прелюбодеяние, оскорбление, неуважение к миру и Церкви, земельные споры. Обычно-правовой порядок не предполагал и формализации системы наказаний за судимые правонарушения. Наказание могло варьироваться от принуждения к извинению до предания смерти. Приобретало оно и причудливые формы, например, пропитие всем миром части имущества провинившегося, публичное покаяние и пр. Наказание принимало при этом характер воздаяния, но не мести. Ответная месть наказуемого в этих условиях была практически невозможной, так как акт осуждения выносился, а наказание претворялось в жизнь всеми жителями деревни, в том числе детьми. Участие детей в актах самосуда являлось важной формой социализации.

Ключевые слова: русская крестьянская община, обычное право, самосуд, традиционная правовая культура.

The article analyses the nature of the Russian peasant community as a system forming element in the history of a home state and national law. Further, the article covers various aspects of the phenomenon of vigilante justice in the Russian customary law. Vigilante justice is defined as an integral part of the customary law and order which is not subject to formalization by positive law remedies. Vigilante justice was rendered by peasants with regard to various case categories. As a rule, these categories included theft (horse stealing, specifically), adultery, insult, contempt of the community and the Church, and land disputes. Neither did customary law and order imply any formalization of the system of punishment for judgable misdeeds. Punishment might vary from apology enforcement to putting to death. It also might acquire some curious forms, for example, spending a part of the offender's property on drink by the entire community, public repentance, etc. In this context, punishment assumed a character of requital, but not of revenge. Responding revenge by the punished person was practically impossible in such circumstances as the offender was accused and convicted, however, the punishment was performed by efforts of the entire community. Punishment was implemented by all villagers including children. Children's participating in the acts of vigilante justice was an important form of socialization.

Key words: Russian peasant community, customary law, vigilante justice, traditional legal culture.

DOI 10.14258/izvasu(2016)3-04

Господствующий сейчас позитивистский тип правовопонимания однозначно отрицательно описывает такое явление, как самосуд. Достаточно обратиться к тексту ст. 330 «Самоуправство» УК РФ 1996 г., которая однозначно относит соответствующие действия к числу преступных [1]. Любая попытка общества самостоятельно восстановить социальную справедливость после правонарушения расценивается как новое правонарушение. Можно ли украсть у вора свою же (ранее украденную) вещь? Позитивистское мировоз-

зрение однозначно ответит «нет». Объяснение этому вполне простое: современное регулярное (полицейское) государство не намерено поступаться частью своего суверенитета и жертвовать монополией на легальное насилие. Именно поэтому любой учебник по юриспруденции гарантированно назовет самосуд проявлением юридического нигилизма и низкой правовой культуры.

Критика самосуда предпринимается не только в юридическом поле, но и в культурном русле.

Неумение общества в социальном конфликте прибегнуть к помощи государства преподносится в качестве показателя общей неразвитости такого общества, несоответствия его критериям цивилизованности. Когда воспитанный на европейских идеях М. Горький во время своего «хождения по Руси» попытался вступить за какую-то женщину, которую за прелюбодеяние крестьяне водили по селу голой, привязанной к телеге, то он был избит до полусмерти. Рассказывая об этом случае позже, уже в период общемировой известности, М. Горький неизменно сетовал на непреодолимую темноту, необразованность русского крестьянства.

Но обратим внимание на один момент. Отторгая самосуд, современная правовая культура произносит свой приговор извне: она исходит из тех цивилизационных начал (выработанных жизнью западноевропейских народов), которые в принципе были чужды правосознанию русского крестьянина даже в XX в. А потому такое отвержение самосуда происходит в рамках привнесенной извне системы правовых ценностей; самосуд отвергается именно не как неверный институт, а как иной.

Непредвзятый же взгляд на самосуд, его оценка именно в системе координат традиционной русской правовой культуры предполагают совершенно иные выводы.

Наивным, например, было бы предположение, что по составлении Свода законов Российской империи М.М. Сперанским в 1832 г. правовая жизнь тогдашнего государства враз переориентировалась на новые законоположения. Учитывая то, что вплоть до конца XIX в. крестьянство абсолютно доминировало в народонаселении империи (около 85% от общего числа подданных), необходимо понимать, что неписаное крестьянское обычное право также абсолютно доминировало в правовой жизни государства. И в этом многовековом обычно-правовом порядке важное место было отведено самосуду.

Самосуд как обычно-правовое явление по определению не может быть формализован. У него нет острых, очерченных углов, что отделяли бы его от смежных понятий. Поэтому он мог проявить себя как в молчаливом приговоре всего мира, так и в единодушном осуждении лишь со стороны части общины. Мог он даже выразиться и в действиях одного человека — мстителя. Главное, что в отношении всех этих действий резюмируется согласие мира, *основанное на обычно-правовом порядке*. Обычай здесь — общий руководящий путеводитель, и мир, безусловно, мог отойти от него, если того требовали обстоятельства дела. Но такой «отход» от обычая совершался для утверждения этого обычая. «Главное, чтобы не затрагивался основополагающий принцип адата. Для таких отступлений приглашались старики, сведущие в народных обычаях, чтобы они могли

найти в своей памяти случаи, позволяющие сделать отступление» [2, с. 31]. При этом ни один впервые возникающий обычай не мог оттеснить уже существующий; новый обычай мог лишь добавиться к имеющимся.

Исследователь крестьянского правового быта XIX в. В.В. Тенишев однозначно относил суд крестьянской общины («всем миром») к разновидности внеправового произвола. Логика данного автора проста: при наличии правовой основы деятельности речь идет о законном суде, при отсутствии — о самосуде. Все же думается, что суд крестьянской общины ни в коем случае нельзя именовать судилищем без правовых оснований, а уж тем более «сборищем или толпою» [3, с. 37], как это делает В.В. Тенишев. Нельзя сбрасывать со счетов, что государство признавало юридическую силу за решениями, вынесенными миром (о переделе земли, о придании лесу статуса заповедного и пр.). Могло ли государство санкционировать внеправовое судилище в масштабах всей империи?

Самосуд вершился крестьянами по многим категориям дел. Как правило, это были воровство (отдельно — конокрадство), прелюбодеяние, оскорбление, неуважение к миру и Церкви, земельные споры и пр. В.А. Бердинских приводит следующее свидетельство крестьянки — очевидицы самосуда в вятской деревне начала XX в.: «Однажды самосуд видела своими глазами, в детстве это было... Украл один мариец у нашего соседа телку, зарезал в лесу. Потом это раскрыли, нашли шкуру. Так вот эту шкуру надели на него и стали бить чем попало. Вот такой был суд! И вели его по всей деревне. И по шкуре, и по вору черви ползли, так как шкура уже портиться стала. Все видели в деревне этот самосуд. Били вора очень сильно. Помню, он еле шел. Не знаю, выжил или нет? Не помню. Но кражи — это редчайший случай. Жили спокойно, не боялись никого» [4, с. 52].

Чаще всего мирской суд рассматривал дела о воровстве. Встречались и более серьезные случаи. Безымянный земский статистик свидетельствует: «Один из крестьян подрался с сельским пастухом, причем ударом ножа поранил последнему руку. Пастух пожаловался селенному сходу на обидчика и хотел привлечь его к суду. Но виновный в преступлении стал просить прощения у обиженного и у мирян. Миряне, конечно, поддержали его просьбу, но пастух не сдавался. Наконец, виновник заявил, что он лучше понесет наказание от своих соседей, чем подвергнется преследованию суда (надо полагать, государственного суда. — *Прим. авт.*), причем просил выпороть его при всем сходе. Такая просьба была встречена веселым смехом мирян и тотчас же была принята ими и пастухом. Виновного раздели, положили на землю и дали ему двадцать пять розог при оглушительном хохоте и крике исполняв-

ших приговор» [3, с. 37]. Вновь обратим внимание на детали: 1) пастух пожаловался не куда-нибудь, а именно селенному сходу, хотя речь шла, без сомнения, об уголовном деле, подведомственном государственному суду; 2) виновный просил прощения не только у обиженного, но и на равных — у мирян; 3) «миряне, конечно, поддержали его просьбу» — более чем красноречивое свидетельство деятельности общинного суда; 4) просьба (!) выпороть была тут же принята не только миром, но и истцом, и 5) исполнена под общий хохот.

Вот пример настоящего *живого* правосудия, по результатам которого каждый получил ему причитающееся. Пастух, которым вовсе не руководил мотив мести (иначе бы он обратился напрямую в государственный суд), видел раскаяние своего обидчика; высеченный — потерпел бесчестие за необдуманнный поступок. И есть еще третье лицо — мир. Причем община здесь вовсе не стремится занять позицию некоего серьезного постороннего арбитра. Напротив, община — внутри разбираемого дела, это внутренний, не внешний судья. Хохот — не признак того, что селяне пришли на этот суд, как на простую потеху; хохот в данном случае означает спавшее внутреннее напряжение — виновный *сам* установил себе достойное тяжелое наказание. Община внешне даже еще не судила, одно лишь ее присутствие, созданная ею атмосфера привели к устраивающему всех решению. Вряд ли после такого правосудия возможно повторение преступления.

Обычно-правовой порядок не предполагал и формализации системы наказаний за судимые правонарушения. Наказание могло варьироваться от принуждения к извинению до предания смерти. Приобретало оно и причудливые формы, например, пропитие всем миром части имущества провинившегося, публичное покаяние и пр. «Из наказаний, применяемых крестьянами при самосуде, особенно замечательны: принудительно пропитие всею толпою принадлежащего вору имущества, ведение вора по всей деревне с привязыванием на него краденого имущества, публичная порка, истязание, а иногда и убийство виновного» [3, с. 38].

Относительно женщины, виновной в краже овцы, толпа закричала: «Такую чертовку, да прощать?! Она еще захочет баранины». «Какое же ей дать наказание?», — спросил староста у мужиков. «А вот какое, — закричал весь сход, — корову пропить. Она будет знать, как чужих баранов резать» [3, с. 38].

К XVIII в. вышло из практики, но сохранилось в народной памяти следующее наказание для совершивших прелюбодеяние: мужчину одевали в женское платье, а женщину — в мужское, да так и водили их по деревне.

Как правило, мир не воздействовал на тело правонарушителя. Объясняется это тем, что основной

целью мирского наказания была отнюдь не кара, а восстановление нарушенного миропорядка, в том числе замирение (но не замирение спорящих сторон, а восстановление согласия в масштабах всей общины, обратное включение отпавшего в общее тело). Поэтому-то физическое насилие отвергалось как средство «примирения». *Применяемая санкция взывала прежде всего к чувству стыда*. Не страх перед ограничением или лишением свободы, не имущественная санкция, а боязнь потерять доброе имя в обществе служила основным сдерживающим фактором.

Самосуд был формой воздаяния, неизменно равного и справедливого. Именно поэтому он предполагал, как правило, лишь одну (безальтернативную) санкцию за соответствующее правонарушение. Современное право, напротив, якобы, из соображений человеколюбия «жонглирует» различными санкциями, предоставляя правоприменителю конечный выбор. Но такая вариативность санкционного элемента современной нормы происходит от неуверенности, расщепленности сознания того, кто ее составлял и применяет. Единая, цельная санкция в рамках самосуда проистекала из инстинктивного желания охранить какие-то первоосновы, из уверенности в необходимости производимого наказания. Отсюда и абсолютная несоразмерность и порой видимая жестокость санкции, назначаемой самосудом за «незначительный» проступок. Дело в том, что несоразмерность проявляется лишь тогда, когда мы пытаемся сопоставить *эту* личность с *этим* ее поступком *в эпоху индивидуализма*. Русскому крестьянину такая фрагментарность была чужда. Именно поэтому для М. Горького, когда он пытался вступить за ту женщину, которую за прелюбодеяние крестьяне водили по селу голой, привязанной к телеге, и был избит до полусмерти, все происходящее — это акт варварства, а для крестьян поступок М. Горького — кощунство.

«Обдуманной символикой и ритуалом — публичным „срамлением“ и „вождением“, символизирующим изгнание, община предупреждала всех жителей деревни, что в случае воровства кары не избежит никто» [5, с. 11]. Если наказуемый проявлял несогласие, строптивость, то община усугубляла наказание. Сделавшего порубку в заповедном лесу стыдили, а дрова приказывали тотчас отвезти в приходскую церковь. Вообще, каявшихся строго не наказывали.

Наказание претворялось в жизнь всеми: при публичном вождении по деревне вора или прелюбодея дети были первыми, кто возвещал о приближении позорного шествия. Участвовали дети и в коллективном избиении более серьезных «преступников» (воров, конокрадов, поджигателей). «Отмщение считалось священным долгом, его неисполнение влекло всеобщее презрение» [6, с. 43]. *Месть наказуемого в этих условиях была практически невозможной, так как акт осуждения выносился, а наказание пре-*

творялось усилиями всей общины. «Все усилия полиции выяснить обстоятельства произошедшего, найти преступника, как правило, были безрезультатны. Определить виновного было весьма затруднительно, по причине того, что на все вопросы следователя крестьяне неизменно отвечали, что „били всем миром“, или говорили: „Да мы легонько его, только поучить хотели. Это он больше с испугу умер“. Те немногие дела, которые доходили до суда, заканчивались оправдательным приговором, который выносили присяжные из крестьян. Традиция самочинных расправ отличалась устойчивостью, что подтверждалось фактами крестьянских самосудов, отмеченных в советской деревне в 20-е гг. XX века» [7, с. 153].

Представителей образованного столичного общества неизменно поражали «грубость и жестокость» крестьянского самосуда. По их понятиям, убийство конокрада и последующее волочение его тела к пруду для утопления там — невероятная бесчеловечность. Однако оценку стихийного проявления народного чувства правосудия, в принципе, невозможно дать с позиций либерально-индивидуалистических представлений.

В образах народного самосуда, внешне бесчеловечных, неизменно проступает одна и та же идея — идея справедливости. Причем справедливости в ее «неразбавленном» виде. Социальное возмущение, привнесенное в общину «преступником», должно быть зеркально отражено. Это принцип «око за око, зуб за зуб» (принцип талиона) в его первоначальном виде. Зло, которое принес с собой «преступник», должно быть возмещено ему, перенесено на него вновь. Речь идет именно о возмещении, а не о мести.

«Потерпевший рассматривал кражу его зерна или его коня как покушение на него самого вопреки официальной трактовке такого рода преступлений уголовным кодексом» [7, с. 153]. А потому посягательство на «живот» (животина, жилище, дом, жизнь) могло быть зеркально искуплено только жизнью. «Единственное, что могло спасти конокрада или поджигателя от смерти, это самооговор в убийстве. По юридическим обычаям, крестьяне считали себя не вправе судить за грех (т. е. убийство) и передавали задержанного в руки властей» [7, с. 152–157].

С конокрадами расправлялись нещадно. Лишиться лошади для крестьянина означало лишиться всего. Конокрадов убивали буквально чуть ли не всем селом. Земское начальство потом ничего не могло разузнать: человек просто пропал, село молчало. А если и удавалось раскрыть преступление, то в ссылку отправляли по 200–300 человек, участвовавших в убийении.

Именно поэтому вопрос о последующей расправе наказанного с исполнителями наказания и не ставился. Мстить было не кому, так как сама община не мстила «преступнику». Она лишь в обезличенной форме,

как единый субъект (в том числе при участии детей и стариков, соседей), возвращала «вору» то зло, которое он попытался сбросить на плечи общины. Поэтому в корне нельзя согласиться с такой, например, характеристикой крестьянского самосуда: «В жестокой самочинной расправе соединялись воедино чувства мести, злобы и страха. Именно страх превращал деревню в коллективного убийцу» [7, с. 152–157].

Как это ни парадоксально, но самосуд в крестьянской общине, скорее, способствовал ее единству. Уже на предварительной стадии он обезвреживал накапливающиеся в общине социальные противоречия. Следующее за наказанием покаяние, выразившееся в неизменном угощении мира вином, было глубоко символичным: через покаяние восстанавливалась та порванная «преступником» живая ткань, что связывала его с телом общины. «Будучи обществом с высокой социальной и индивидуальной значимостью взаимных зависимостей, „мир“ относился к преступнику как к сложной целостной личности и простому грешнику. Открытое порицание, разного рода жесты и обращения отражают рациональную, справедливую оценку преступника, подчиненную „необходимости продолжать с ним общение в дальнейшем“» [6, с. 43]. *Акт воздаяния (но не наказания!) символизировал воспроизводство некоей многовековой социальной памяти. Это телесное чувствование истории.*

Господствующее же сегодня позитивистское учение о праве заклеяло этот сложный и идейно очень глубокий институт самосуда как преступное деяние. В серии своих публикаций в журнале «История государства и права» современный автор А.М. Смирнов сетует на то, что «наличие в современной России самосудных расправ над лицами, практикующими магию и колдовство, свидетельствует об определенной примитивности социально-правового развития Российского государства, архаичности и патриархальности российского общества. Подобные выводы являются весьма безрадостными на фоне значительного нравственно-культурного прогресса мировой цивилизации, частью которой является наша страна» [8, с. 6–9]. В подтверждение своих слов А.М. Смирнов приводит случаи убийства лиц, занимавшихся ворожбой, с указанием даты и обстоятельств случившегося.

Подобные выводы, действительно, «безрадостны», но только в отношении теории А.М. Смирнова. Во-первых, вызывает интерес заявление о «значительном нравственно-культурном прогрессе мировой цивилизации». Во-вторых, увязка самосуда с такими характеристиками, как «примитивность социально-правового развития Российского государства, архаичность и патриархальность российского общества», ни на чем, кроме как на ценностных установках А.М. Смирнова, не основана. В-третьих, абсолютно

непонятно, как по мысли указанного автора приведенные факты «самосуда» (на самом деле, убийств) свидетельствуют о «патриархальности» современного общества. И, самое главное, удивляет само отождествление случаев убийства в смысле ст. 105 УК РФ 1996 г. с традиционной практикой самосуда в среде

русского крестьянства до XX в. Все это еще раз свидетельствует о крайне тенденциозном восприятии самосуда современной теоретической наукой, точнее, о нежелании восприятия этого крайне многогранного обычно-правового института.

Библиографический список

1. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
2. Мисроков З.Х. Адат и Шариат в российской правовой системе: исторические судьбы юридического плюрализма на Северном Кавказе. — М., 2002.
3. Тенишев В.В. Правосудие в русском крестьянском быту. — М., 1907 (М., 2011).
4. Бердинских В.А. Русская деревня: быт и нравы. — М., 2013.
5. Смирнов А.М. Самосуд как социально-культурный феномен крестьянской общины в эпоху Российской империи // История государства и права. — 2013. — № 10.
6. Шатковская Т.В. Социальные функции института наказания в обычно-правовой системе российских крестьян периода империи // История государства и права. — 2014. — № 21.
7. Безгин В.Б. Крестьянский самосуд и семейная расправа (насилие в жизни русской деревни конца XIX — начала XX в.) // Вопросы истории. — 2005. — № 3.
8. Смирнов А.М. Самосуд над ведьмами и колдунами в России // История государства и права. — 2015. — № 7.